

Софья
ГИАЦИНТОВА,
народная артистка СССР

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ

В издательстве «Искусство» готовится книга воспоминаний знаменитой советской актрисы Софьи Владимировны Гиацинтовой. Сегодня мы публикуем отрывки из будущей книги.

МАЛЫЙ театр сильно отличался от Большого. Там все было так же прекрасно и бархатно-нарядно, но не так шикарно, зато уютно. И то, что происходило на сцене, более мне близко. Близость эту я ощущала даже физически — ложа фон Боолей, находившаяся в бегуаре, совсем рядом со сценой, подробно открывала лица актеров, костюмы, театральные аксессуары. А уж когда артисты кланялись и улыбались «нашей» ложе (Бюль), меня охватывал восторг. Другая причина ощущения близости, и главная, состояла в том, что волшебство Большого театра совсем не имело отношения к реальной действительности — там на грандиозной сцене в грандиозных декорациях люди пели или особенно, не как в жизни, танцевали, а на сцене Малого театра часто стояла знакомая мебель, артисты обыкновенно ходили и разговаривали, и колдовство заключалось в них самих, в их жизни на сцене — пусть далекой от нас, но все-таки по-настоящему. Так или иначе, но, если в оперы и балеты я дома играла, то спектакли Малого театра проживала (в силу своего понимания, конечно) как собственную жизнь, независимо от происходящих в них событий. Кстати, пьесы меня тогда не слишком занимали, многие из них и не блистали драматическим совершенством. Но какие были актеры!

Начну с Гликерии Николаевны Федотовой. В спектаклях я ее уже не застала, но два раза мне все-таки довелось с ней встретиться. Вот как это произошло. Одна из моих родственниц, Александра Алексеевна Стерн, была писательницей. Правда, ее литературный дар был невелик. Героини ее романов — девушки со стрельчатыми ресницами в холстинковых платьях сначала жили в имениях, затем «ужасно страдали», выходили замуж, выезжали на балы и т. д. Не понимаю почему, но Федотова, дружившая с тетей Сашей, любила играть в ее пьесах, даже выбирала их для своих бенефисов. Может быть, совсем узкую сферу жизни — кусочек помещичьего быта — тетка и умела точно «фотографировать», не берусь судить. Она и повела нас на пятидесятилетний юбилей сценической деятельности Федотовой. Празднование было пышное. Правительством тогда участия в чествованиях не принимало, награды были не в моде, но видные представители обществности публично славили великую актрису. А она, уже совсем больная, сидела на сцене, уставленной цветами. Позади стояла ее внучка и время от времени давала ей что-то нюхать из маленького флакончика — это было эффектно. Федотова склоняла голову, стоя перед приветствующей ее публикой, принимала красивые, дорогие подарки и, чудилось мне, ду-

мала о чем-то своем. Но самым впечатляющим было ее собственное выступление. Не вставая с кресла, Федотова сыграла сцену из пьесы Островского «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский». В ней царицу Марфу, мать убитого в Угличе Дмитрия, привозят в лагерь к Самозванцу и требуют признать в нем своего сына.
«Младый, цветущий — вьюнош, князь Михайло Васильевич, зачем меня, старуху, ты вытаски из монастырской кельи?» — начала Федотова тихим, проникновенным голосом. Но в ответ на слова Басманова: «...Сама бы ты должна навстречу сыну не ехать, а лететь» она вздрогнула и руками судорожно вцепилась в костыль.
«Навстречу сыну?» — громко раскатились по залу всего два слова, в которых выразила она и боль, и гнев, и любовь к сыну — настоящему, не этому.
И потом, после паузы, снова тихо, отрешенно:
«...Я в Угличе его похоронила, от слез моих там реки протекли...» — сказала, не плача, не вызывая жалости к себе, а как бы глядя в свое давнее, привычное, наполненное каждый день долгих лет горе. Оно уже не лежит острием в сердце, когда нельзя пошевелиться, а то закричишь, — оно рассосалось и заполнило все существо человеческое.
Федотова играла великолепно — умно, четко, сильно. Как достигала она такого полного понимания у зрителя — умом, ассоциациями, фантазией, знанием, — объяснить нельзя.
В следующий раз я увиде-

ла Федотову в дни моих раздумий над дальнейшей судьбой: работа в Художественном театре казалась бесперспективной, я теряла веру в себя. Тетя Саша решила, что надо проверить у Федотовой мои способности. В назначенный день я пришла к ее деревянному особняку в какой-то из старых московских переулков. Он приоткрылся в глубине сада, деревья заслоняли окна, поэтому в комнатах было полутемно. По квартире бродили какие-то старушки, наверное, подруги-компаньонки. Старая злая собачка хрипло лаяла на меня — не то презирала за незначительность, не то боролась с искушением укусить. Провели меня в спальню, обставленную старинной красивой мебелью красного дерева. В тяжелом глубоком кресле в черном платье, с палкой в руке — сама хозяйка. Глаза у нее живые, горячие, «неугасимые», по выражению Ермоловой. Она не улыбалась, не говорила любезных слов, только внимательно глядела.
— Прочи, что хочешь, — сказала она.
Никогда не пойму, почему, имея за душой несколько сказанных на сцене фраз, без подготовки, не справившись с волнением, я решила читать монолог Джульетты, требующий — не просто таланта, но глубокого драматизма, мастерства, опыта.
Начав дрожащим голосом, я постепенно увлеклась и, сказав: «Мой бог, Тибальда призывай здесь...», даже вскочила со стула.
Федотова все вытерпела.
— А куда смотришь-то, когда Тибальд тебе мерещится? — спросила она. — В ка-

кую-нибудь точку смотри, глазами не бегай — ведь он где-то здесь. Пусть хоть из шкафа вылезает — вон, где фарфор стоит. — Она вздохнула. — Теперь слушай, я тебе буду читать.
Я помертвела — во-первых, сама Федотова читает лично мне, во-вторых, — Джульетту, которой четырнадцать, ну, шестнадцать лет.
А Гликерия Николаевна задумалась, положила подбородок на руку, державшую палку, и тихо начала: «Холодный страх по жилам пробегает и жизни теплоту в нас леденит...» Она подняла голову, и я увидела лицо, залитое слезами, воодушевленное и молодое. Она читала так, будто не единственная зрительница слушает ее в старушечьей спальне, а восторженная толпа в большом зале.
Окончив, аккуратно и, как мне показалось, равнодушно вытерла лицо носовым платком.
— Никогда не кричи, а думай, — сказала она буднично, деловито.
Потом все старушки поили меня чаем, пичкали домашним печеньем, даже собачка выказала некое подобие дружелюбия. Когда я уходила, Федотова вдруг сказала:
— Ты хорошо пришла.
Я вопросительно взглянула на нее.
— Ты постояла, потом поздоровалась скромненько и села спокойно. А то вот приходила ко мне одна молодая, так она на колени встала и цветы по полу рассыпала. Я старушка убогая, меня так пугать нельзя, — продолжала она, — я этих кривляний нынешних не люблю.
Я поняла, о какой актрисе,

действительно любившей эффекты и себя, а отнюдь не Федотову, так ехидно сказала Гликерия Николаевна. И только подивилась, как точно поняла она характер гостьи.
Возвращаясь от нее, я думала, что хоть на мой мхатовский вкус и была в чтении Федотовой излишняя величавость и напевность, но как тонко постигала она суть образа, как угадывала внутреннюю жизнь Джульетты, ее мысль, манеру! И еще я впервые подумала тогда, что талант, пока он живой, искренний, не боится старости.
◆
СЛОЖНЕЕ складывались мои «отношения» с Марией Николаевной Ермоловой...
Первое впечатление было тяжелое. В какой-то одноактной пьесе она, по роли, сходила с ума, вскакивала на кушетку и кричала: «Змея, змея!». Вслед за ней диким голосом закричала Маруся Венкстерн. То ли действительно слишком натуралистически сыграла эту сцену актриса, то ли мы были слишком малы, то ли на нас подействовал вопль Маруси, но испугались мы страшно и решили, что она действительно сумасшедшая. Эта уверенность так засела в нас с Наташей, что, проходя с гувернанткой мимо артистического подъезда Малого театра (маленькая черная дверь напротив «Метрополя») и увидев вышедшую оттуда к карете Ермолову в ротонде на меху с большим стоячим воротником, мы обе шарахнулись от нее.
Прошло довольно много времени, прежде чем я ощутила величие ее таланта, силу

ее вдохновения. Когда я узнала Ермолову, уже в прошлом осталась ее Жанна д'Арк, и она играла матерей — многих, разных, но всегда драматической судьбы. Я смотрела все ее спектакли по несколько раз, и, хотя о них все написано, какие-то моменты хочется вспомнить.
В «Красной мантии» она врывалась в суд и с невероятным темпераментом кидала судьям гневные слова. И вдруг смотрела на пытавшихся удержать ее солдат. Но как смотрела! Она вдруг осознала, что они ей мешают, и отшвыривала от себя не столько силой, сколько этим испепеляющим взором. Потом глядела на свои оскверненные солдатским прикосновением руки — коротко, но так исчерпывающе, что подробности были и не нужны.
В «Холопах» ее героиня все время сидела, скованная параличом. Но, услышав о кончине Павла I, вдруг энергично, воодушевленно вставала, приводя всех в шокоевое состояние. Оказывается, она так долго притворилась, чтобы не подниматься, не кланяться, приветствуя ненавистного ей царя. Весть о его смерти — час ее торжества. Ермолова была гневна, горда и величественна.
В «Привидениях» она меня поражала тем, что потом у нас называлось «вторым планом». Она как будто ничего не делала — ходила, садилась, снова вставала, говорила обычным голосом, а над ней реяла ее растоптанная жизнь, невидимо погибала измученная страданием душа.
...Вокруг Ермоловой царил почтительно-восторженная атмосфера, равной которой не мог похвастать никто. По моему, она принимала ее довольно сухо. Я видела ее на дневном концерте в университете. Она вышла нарядная, но вы-

глядела плохо, лицо в красных пятнах и читала вяло. Но вдруг под конец ошеломляюще грянула своим разящим темпераментом — у всех горло перехватило. Потом в аудитории, где стоял накрытый стол для выступавших артистов, почтенные профессора обожанием смотрели на нее: целовали руки, а она была сердита, неулыбчива и поспешила уехать. И я опять, как в первый раз, испытала страх пред ней.
Ермолова неумолимо притягивала к себе, приковывала внимание, я, боясь пропустить какое-нибудь движение или выражение лица, так пристально следила за ее игрой, вернее, за ее жизнью на сцене, что у меня глаза уставали. Я поклонилась ее таланту, подчинилась ему, безудержно плакала над ее страданиями на сцене, забыв обо всем на свете. И все-таки должна признаться, не испытывала общепринятого и такого естественного в моем возрасте обожания. Я воспринимала ее бесспорно трагично — она покорила, потрясала, но не вызывала необходимого мне радостного подъема и надежды. Она была грандиозна, но далека от моего простого человеческого мира. И не потому, конечно, что ей недоставало человечности — ведь она надрывала зрительские сердца правдой людских страданий. Я думаю, природой данная ей титаническая сила была тогда не по силам, не по годам мне, подавляла, заставляла съезживать впечатление, лишала ощущение внутренней близости. Но прошло время, и уже давно, много-много лет, входя в свою комнату, я встречаю твердые, всепонимающие глаза неподвигой Марии Николаевны Ермоловой, глядящие на меня с портрета в овальной золоченой раме.